

Алексей Будищев

Евтишкино дело



Алексей Николаевич Будищев

Евтишкино дело

Аннотация

«Было поздно. Рабочие уже давно вернулись с поля, управили все по дому и ушли в людскую избу, чтобы покурить перед ужином сигарку расправить вспотевшие спины и для развлечения снисходительно поругаться со стряпухою; скотина была уже загнана, а птица расселась по насестам, когда владелец хутора, Артамонов, вышел из своего маленького домика, чтобы лично перед ужином обойти и осмотреть всю усадьбу. Хутор Ксенофонта Артамонова стоит среди поля, возле суглинистого, с крутыми берегами оврага, в полуверсте от маленькой деревушки Безымянки...»

Алексей Будищев

Евтишкино дело

Было поздно. Рабочие уже давно вернулись с поля, управили все по дому и ушли в людскую избу, чтобы покурить перед ужином сигарку расправить вспотевшие спины и для развлечения снисходительно поругаться со стряпухой; скотина была уже загнана, а птица расселась по насестам, когда владелец хутора, Артамонов, вышел из своего маленького домика, чтобы лично перед ужином обойти и осмотреть всю усадьбу. Хутор Ксенофонта Артамонова стоит среди поля, возле суглинистого, с крутыми берегами оврага, в полуверсте от маленькой деревушки Безымянки. Узкая речонка, неглубокая и с отлогими берегами, огибает артамоновский сад, разросшийся на свободе, без призора и наполовину заросший бурьянником. Речонка блестит, как стеклышко, и делает у сада никому ненужные городочки и загогулилки. Она точно наслаждается красотой могучих дубов и не спешит покинуть приветливые берега сада, но потом, как бы вспомнив о своих прямых обязанностях, круто повертывает в сторону и бежит прямая, как стрелка, поить зелёные поля, перепоясывая их, как серебряный пояс.

Ксенофонт Ильич отворил плотно ворот и долго простоял там на одном месте, внимательно оглядываясь по сторонам и как бы не решаясь двинуться вперед. Ночь была тем-

ная и непогодная, с тревожным шелестом трав и деревьев, с беспокойными порывами упорного северо-восточного ветра, хмурая и неприветливая, точно кого-то подстерегающая, против кого-то злоумышляющая и только выжидающая благоприятного случая. Её странные трепетания, неожиданные, как подергивания нервного человека, казалось, не предвещали ничего хорошего, и Артамонов как-то весь съёжился и заволновался. Он даже слегка оробел.

Это был человек лет сорока пяти, с желтоватым, несколько обрюзгшим лицом, невысокий, сутуловатый и коротконогий, с большой несуразной головою и беспокойными, недружелюбными глазами. Бороду и усы он брил, волосы стриг под гребенку, а на голове носил фуражку с черным бархатным околышем и кокардой, прицепленной по-граждански, выше околыша.

Артамонов постоял, пощупал в кармане широкого люстринового пиджака холодное дуло револьвера и двинулся в путь, в обход, к скотным сараям. «Уж не Евтишкино ли это дело?» внезапно прошептал он, беспокойно хмураясь и медленно подвигаясь вперед. Дело в том, что он вспомнил о пожаре, случившемся на его хуторе вчера ночью. У него сгорела баня, которая в этот день хотя и топилась, но, тем не менее, Ксенофонт Ильич особенной причины к её пожару не усматривал и подозревал поджог... «Уж не Евтишкино ли это дело, – думал он, беспокойно озираясь по сторонам, – уж не придрал ли он из Сибири и не поджог ли для острат-

ки мою баню? Знай, дескать, наших! Мы, дескать, восвояси вернулись! Держись, дескать, Ксенофонт Ильич!» Артамонов пошевелил губами. «Баня-то, Бог с ней, – продолжал он свои размышления, – баня-то недорого стоит, но что ежели Евтишка скотный двор подпалить задумал, ежели он всю усадьбу хочет, как метлой, смести, что ежели он до головы моей добирается? Тогда-то что предпринять?» Ксенофонт Ильич даже остановился. Он простоял несколько минут, почесывая бритый подбородок и, наконец подумал: «впрочем, если Евтишка пришёл, мы еще поспорим, кто кого проглотить скорее!» Он улыбнулся одними губами и снова двинулся к скотным сараям.

Между тем ветер усиливался, шелестя в овраге густыми порослями лозняка и переворачивая наизнанку их узкие листья. Косматые тучи ходили целыми стадами, а звезды совсем не показывались на небе.

Артамонов внезапно метнулся в сторону. Его сердце испуганно затокало; ему показалось, что кто-то швырнул ему под ноги какой-то лоскут. Но дело объяснилось просто: порывистый ветер кинул ему под ноги скомканным листком бумаги, Бог весть откуда занесённым. Ксенофонт Ильич нагнулся, машинально поднял этот листок, сунул его в карман своего пиджака и подумал: «Чего это я так робею? Когда служил, мало ли, бывало, какие истории случались, и все-таки я, благодаря Бога, преуспевал, злоумышленников своих в ложке воды топил и капиталы умножал. Бог не выдаст, сви-

нья не съест! Если Евтишка действительно думает тягаться со мною, я его превращу в комок грязи и вполне на законном основании». Артамонов таким образом успокоил себя, выпрямился и пошел вперед, как будто с презрительной улыбкой на губах, и не без удовольствия нащупывая в кармане дуло револьвера. Он решился бороться и защищать свое имущество в случае надобности с оружием в руках, до последней капли крови.

Маленькое, в 150 десятин земли, именье досталось Артамонову далеко не даром. Он приобрел его семь лет тому назад после двадцатилетней службы в канцелярии полицейского управления, – службы каторжной, с подвохами, каверзами и закорючками. Во все время этой службы Ксенофонт Ильич берег каждую копейку пуще глаза, отказывал себе решительно во всем, обедал частенько хлебом и двухкопеечной воблой, а платье носил, переворачивая его и так и сяк по нескольку раз. Кроме того, он потихоньку отдавал в рост каждую убереженную копейку. Таким образом, в продолжение двадцати лет ему удалось скопить около 3,5 тысяч, из которых две он дал займы мещанину Коперникову под залог его хутора при деревне Безымянке. Имение это вскоре перешло за долг Артамонову, и таким образом Ксенофонт Ильич сделался землевладельцем-собственником.

Артамонов был уже около скотных сараев, и тут ему внезапно пришло в голову: «А что это собак сторожевых не видно? Неужели их еще не выпускали из ямы? или это тоже

Евтишкиных рук дело?» Ксенофонт Ильич снова заволновался и забеспокоился и круто повернул от скотных сараев к рабочей избе. «Где это собаки?» подумал он, почесывая бритый подбородок. Артамонов держал двух сторожевых собак, злых и крупных. Они выпускались только на ночь, а днем их запирали в темную яму для того, чтобы они были злее и нелюдимее. Такой способ воспитания собак Артамонов ввел у себя ровно 5 лет тому назад, с того времени, как Евтишка ушёл в Сибирь. Рабочие уже встали из-за ужина, когда Ксенофонт Ильич вошел к ним в избу.

– А где сторожевые собаки? – спросил он старшего рабочего. – Почему ты не выпускаешь их из ямы?

Работник вытер усы и попутно оправил нос.

– Как не выпускал, Ксенофонт Ильич? Я их давно выпустил; как солнышко закатилось, так и выпустил. Уж не ушли ли они на деревню? Нет ли там, Ксенофонт Ильич, свадьбы собачьей?

Ксенофонт Ильич впал в раздражение.

– Свадьбы, свадьбы, – передразнил он рабочего, подозрительно заглядывая в его глаза, – то-то у вас одни пакости на уме!

Ксенофонт Ильич нахмурился еще более и вышел из избы. Он прошёл за ворота и стал легонько посвистывать, прислушиваясь в перерывах. Но собаки не шли на свист хозяина. Они точно сквозь землю провалились, и на печальный зов Артамонова откликались только поросли лозняка, тревожно

трепетавшие и шелестящие в темном русле оврага. Ксенофонту Ильичу казалось порою, что там возилось и щетинилось какое-то неуклюжее и беспокойное животное, и страх все более и более овладевал его сердцем. Он понял, что Евтишка пришел из Сибири, обрек его, Ксенофонта Ильича, на гибель и предусмотрительно удалил собак. «Прибрал собак в надлежащее место», прошептал Ксенофонт Ильич и, однако, нашел в себе силы выпрямиться во весь рост, притворно, как бы ломаясь перед кем-то зевнуть и произнести вслух:

– Если ты, братец ты мой, добираешься до моей головы, то я раскрою твою собственную!

Артамонов снова хотел было двинуться в обход, но внезапно присел с громко бьющимся сердцем, чувствуя, что его спину обдало холодным потом. Ему показалось, что какая-то тень метнулась из канавы к скотным сараям, скользнула вдоль стены и как бы слилась с одним из столбов, поддерживающих крышу. Ксенофонт Ильич, пригнувшись и стараясь мягче ступать, побежал к канаве, потом для чего-то возвратился назад, как заметавшийся с перепугу заяц и, наконец, снова повернул к сараю, внезапно исполняясь непоколебимой решимости. Однако у самых сараев он остановился и тихонько кашлянул. На него внезапно напал страх, и столкновение с Евтишкой сейчас и лицом к лицу показалось ему донельзя опасными. Ксенофонт Ильич снова кашлянул. Он надеялся, что Евтишка, прячась за столбами са-

рая, испугается, услышав его кашель. Он поймет, что о его прибытии знают и за ним наблюдают. После этого Ксенофонт Ильич тихонько поуськал, как бы натравливая на кого-то собак, и только после таких предосторожностей он, наконец, решился двинуться вперед. Он внимательно оглядел каждую ямку и каждый столбик, но, однако, не нашел ничего подозрительного. Тем не менее это его несколько не успокоило, так как и в прибытии из Сибири Евтишки Ксенофонт Ильич уже верил безусловно, а отсутствие явных на то улик объяснял замечательной осторожностью злоумышленника. Он понял, что бороться с Евтишкой не так-то легко, как он думал. Все это повергло его в такое уныние что Ксенофонт Ильич немедленно пошел домой, беспокожно сверкая глазами и нашептывая:

– Возрос, окруженный злоумышленниками и, видно, умру среди злоумышленников! Подкапываются разбойники, выслеживают, нажитое горбом, собаки, из рук рвут!

Артамонов вошел в комнаты сильно взволнованный и озабоченный. Агафья Даниловна встретила его со свечой в руках. Она нахмурила свои тёмные брови.

– Чего вы ужинать-то до сих пор не приходили, я щи два раза из печки вынимала, все вас ждала.

Она поставила на стол свечку, сердито стукнув подсвечником.

Агафья Даниловна – служанка Ксенофонта Ильича, и все знают, что он живёт с нею, как с женою, вот уже 5 лет, с того

самого времени, как Евтишка ушел в Сибирь. Агафья Даниловна совсем молодая женщина, красивая, белотелая и высокая, с полной грудью и красиво выведенными бровями, помещански, но не без кокетства одетая. В настоящую минуту она, казалось, была недовольна Артамоновыми и её красивые глаза, темные и продолговатые, как миндалины, глядели на него как будто с презрением. Она с недовольным видом пошла к печке.

– Чего вы забегались? или воров к себе в гости ожидаете? – сказала она, как показалось Ксенофонту Ильичу, с оттенком злорадства.

– Каждую весну вас точно лихоманка трясет. Совесть-то у вас нечиста, видно!

Ксенофонт Ильич увидел, как сверкнули в полумраке её глаза, и сконфуженно опустил голову. Его глаза беспокойно забегали. Он встал, почему-то на цыпочках прошелся по комнате и, внезапно остановившись и понизив голос, сказал:

– А ведь Евтишка-то пришел из Сибири! Вчера он баню поджёл, а нынче собак в надлежащее место прибрал. Да-с!

Агафья Даниловна засмеялась. Её глаза засветились неподдельным весельем.

– Он по-вашему, каждую весну приходит, – сказала она, ставя на стол горшок со щами. – Садитесь-ка вот лучше ужинать!

Ксенофонт Ильич почувствовал отвращение и к пище

и к этой угощавшей его женщине. Ему показалось, что она прекрасно знает о том, что собаки прибраны Евтишкой в надлежащее место, и именно это обстоятельство наполняет ее весельем. Ксенофонт Ильич внезапно впал в раздражение.

– Я ужинать, Агафья Даниловна, не хочу, а все ваши каверзы и подвохи вижу насквозь и приму свои меры. Будьте, Агафья Даниловна, благонадежны!

Агафья Даниловна с недоумением оглянулась, а Ксенофонт Ильич, хлопнув дверью, вышел из комнаты. Он пошел по дому запирать окна и думал: «Сам себя злоумышленниками окружил. Отомстят они мне за доброту мою!»

– Надо быть хладнокровным, – шептал он, – но, однако, быть хладнокровным ему не удавалось, и, когда он лег в постель, предварительно сунув под полушку револьвер, его ноги были холодны, как лед, от охватившего его волнения. Впрочем, он все-таки скоро заснул, так как набегался за день, как гончая собака; но сон не принес ему облегчения, а, напротив, поверг его в неопиcуемый ужас. Во сне Ксенофонт Ильич видел каких-то диковинных зверей, которые гнались за ним по холодной пустыне с дикой злобой и удивительной настойчивостью. От них он забежал в ветхую лачугу, внезапно, как из-под земли выросшую перед ним. В избенке было темно, но Ксенофонт Ильич сразу догадался, что здесь сидит Евтишка. Он понял это по дикому ужасу, который внезапно вошел в него. Ксенофонт Ильич повел затуманенными глазами, и, действительно, увидел Евтишку. Он сидел блед-

ный, но улыбающийся, с ножом в правой руке, и Ксенофонт Ильич сам подошел к нему.

– Покоряешься ли мне? – спросил его Евтишка со странной улыбкой.

– Покоряюсь, – прошептал Ксенофонт Ильич, стуча зубами.

Евтишка сделал многозначительное лицо. Улыбка внезапно исчезла с его губ, точно ее сдуло ветром.

– Желаешь ли через кровь получить искупление? – спросил он.

– Желаю, – прошептал Ксенофонт Ильич.

Евтишка, выставив вперед локоть, замахнулся, и Ксенофонт Ильич почувствовал боль в горле, точно туда погрузили нож. Он забился в судорогах и в то же время, к ужасу своему, заметил, что на лавке перед ним сидит не Евтишка, а он сам – Ксенофонт Ильич Артамонов. Артамонов проснулся и сел на постели в безотчетном ужасе. Его жёлтые, обрюзгшие щеки вздрагивали, а ногам было холодно. Он прислушался. За окном дул ветер, сильный и порывистый; весь сад точно вздрагивал и шептался, а под самым окном в бирьяннике он услышал положительно человеческий голос. Ксенофонт Ильич напряг слух и понял, что это говорит Евтишка, как бы обращаясь к неизвестному сообщнику. Он расслышал его рассказ весь от слова до слова, несмотря на шум сада, точно это говорил ему человек, сидевший тут же рядом на его постели.

Рассказ Евтишки

– И жили мы, братец ты мой, на этом самом хуторе вместе с покойным тятенькой, жили и, можно сказать, блаженствовали. Земли у нас было вволю: паши не хочу, и нанимали мы каждый год трех работников. Так-то. Выедем это мы, бывало, в вешний сев на загон все до единого, не много, не мало – 5 сох, что твоя барщина. Идешь за сохой, сердце радуется, и солнышко в небе радуется, и травка каждая радуется. Хорошо было. И был я в то время, нужно тебе сказать, парень тихий и работающий, а чтоб о водке думать, то есть даже ни-ни! В те поры тятенька поженили меня на мещанской дочери Агафье Данильевне, писаной красавице. Да. Так-то мы, братец ты мой, жили и Бога благодарили и были счастьем своим сыты, можно сказать, по горло. Только тут повернулась к нам судьба иначе, словно на нас ветром другим подуло. В единую ночь сгорела усадьба наша вся начисто, словно ее метлой смели. Не поверишь ли, милый ты человек, ни единого перышка не спасли. От всего хутора одни угли для самовара остались. А через две недели туча градовая полем нашим прошла и весь хлеб – и озимое и яровое – чище серпа прибрала то есть ни единого колоса не оставила. Вот оно что. Да. Тут строиться надо, а в доме всего на все пятьдесят пять целковых и продать нечего. Заметались мы с тятенькой и туда

и сюда, и сказали нам добрые люди, что есть такой в нашем городе чиновник Артамонов, Ксенофонт Ильич, деньги, дескать, за процент в долг дает. Поехал к нему тятенька, поклонился, и дал ему Артамонов две тысячи на два года, процентов четыреста целковых за год, да неустойки тысячу монет, ежели, стало быть, всю сполна сумму тятенька ему в срок не представит. Обстроились мы, скотинку кое-какую купили и за дело взялись. Только ничего-то, братец ты мой, с этих пор нам не удавалось, словно мы не с чиновником Артамоновым, а с сатаной договор заключили. Так не повезло нам, что просто у тятеньки руки опустились. Что хочешь, братец ты мой, то и делай! Задумаешь лен посеять, весна сухая, льна нет; овес посеешь, дожди зальют, упадет овес на клетку, пустой на солому скосишь. А тут весной простудился тятенька и Богу душеньку отдал; остался я один с Агафьей Данильевой, и пошел хутор наш за долг к Артамонову. Приехал он и хозяином сел, а я на манер нищего вышел. Куда пойдешь, что станешь делать? Подумал я и нанялся вместе с Агафьей Данильевой к Артамонову – я в старшие работники, а она в кухарки, оба за девяносто шесть рублей в год. Вот оно на что вышло-то. Да. Тяжко мне было, однако, вот тебе Бог свидетель, работал я на Артамонова верой и правдой, как самому себе. Начал было я деньжонки кое-какие откладывать, в голове мысли держал: лет через десять небольшой клочок земли под городом в собственность купить, огородом заниматься. Только все мои мысли прахом разлетелись. Толк-

нул меня, братец ты мой, Ксенофонт Ильич в яму. Узнал я, милый ты человек, что хозяйка моя Агафья Данильевна с Ксенофонтом Ильичом спуталась-спозналась. Разумеется, сердце бабье слабое, и польстилась она на жизнь привольную, на кушанья сладкие, на наряды и деньги позарилась. Узнал я это, братец ты мой, и в голове моей словно все вверх дном встало. Словно я второй раз в мир родился и на мир новыми глазами взглянула И понял я, милый ты человек, что божественное в книжках для неба писано, а на земле люди сами уставы устанавливают. И запылало у меня сердце на Артамонова. Захотелось мне новой жизни узнать, проведать, да так захотелось, что в голове все ходуном заходило. И думалось мне в мыслях, весь хутор Артамоновский дымом под небо пустить, а самого его в темную ночку с глазу на глаз на допрос позвать, ножом-булатом по горлу его чиликнуть! Думалось мне, что воспарю я после этого выше орла над миром, душеньку утолю-порадую, дали необъятные увижу. Да.

Так-то, братец ты мой, думал я и гадал и каждый день пьяным напивался, новые гармоньи о колеса бил – бахвалялся, последние денежки по трактирам мотал. И каждый день Агафью Данильевну бил. Изобью ее, надругаюсь и пьяный под лавкой, как пёс, сосну. А утречком проснусь и опять за черные мысли, а потом опять за водку. И так-то я, братец ты мой, от черных мыслей к белой водочке променаж делал; делал, делал и доделался. Пошли у нас с Ксенофонтом Ильичом раздоры, что ни день хуже. Стало мне тошнее

на белом свете мыкаться, и я решился. И поймали меня милый ты человек, темной ночью в то время, как я у скотного сарая крышу подпалил. Ксенофонт Ильич, оказывается, давно за мной дозором ходил, по пятам выслеживал. Связали мне белые руки, в острог за решетку посадили. И стал я, братец ты мой, не Евтихий Дементыч Коперников, а затычка кабацкая, осторожная душа. Да. И пошел я, милый ты мой человек, по большой дороге по Владимирке макаровых телят искать. Окончательно погибший человек стал. Так-то. Так вот он каков есть человек Ксенофонт Ильич. С виду святоша, курицы не обидит, а сам живого человека съел со всем его хутором, землей и женою.

Артамонов очнулся. Он сидел на постели, свесив желтые с красноватыми коленями ноги и слегка подрыгивая ими. Ксенофонт Ильич сосредоточенно заглянул в окошко и поймал себя за странным занятием. Он шевелил губами, шептал и повторял за Евтишкой последние слова его рассказа буква в букву. «Так вот он каков есть человек Ксенофонт Ильич. С виду святоша, курицы не обидит, а сам живого человека съел со всем его хутором, землей и женою!»

Ксенофонт Ильич даже заподозрил, уж не повторил ли он за Евтишкой весь рассказ, но тотчас же разубедил себя в этом и прошептал:

– Я только кончик скопировал, кончик только.

Он зашевелился. К нему вошла Агафья Даниловна, заспанная, в одной юбке.

– Чего вы кричите, – сказала она, – точно вас резать собрались? Только людей пугаете!

Ксенофонт Ильич захныкал.

– Спросонок, я должно быть. Сны меня, Агашенька, нехорошие замучили!

Агафья Даниловна пошла, почесываясь, назад.

– Вот то-то сны, – обронила она по дороге, – не упекали бы людей в Сибирь, так и спалось бы лучше.

Она исчезла в дверях. Ксенофонт Ильич посидел на постели, припоминая рассказ Евтишки. Теперь он уже не сомневался, что Евтишка пришел из Сибири. «Хочет со мной покончить, – думал Ксенофонт Ильич, – меня ограбить и вместе с Агафьей Данильевной в Сибирь бежать. Да. С деньгами и в Сибири хорошо». Ксенофонт Ильич поспешно оделся, сунул в карман пиджака револьвер и вышел на двор. Ему нужно было, во-первых, обойти сад и выследить логовище Евтишки, а во-вторых, пойти и разбудить кого-нибудь из рабочих, чтобы вместе с ними накрыть выслеженного Евтишку. Однако Ксенофонт Ильич надумал разбудить раньше рабочего и посоветоваться с ним, что делать. Для этой цели он пошел к конюшне, где спал Федосей. Этот рабочий любил говорить о божественном и поэтому пользовался его доверием. Ксенофонт Ильич шел осторожно, крадучись и постоянно оглядываясь, как бы боясь, что сзади схватят его чьи-нибудь цепкие руки. Ночь была темная. Порывистый ветер гнал по небу косматый тучи. Они шли

на юго-запад, достигали горизонта и там останавливались, как вода у плотины. Ксенофонт Ильич вошел в конюшню.

Федосей лежал на сене прикрытый зипуном, но не спал. Увидев Артамонова, он приподнял голову и облокотился на локоть. Это был худой и долгий, как жердь, мужик лет сорока, с рыжеватой козлиной бородой и узкими серыми глазами.

– Это вы, Ксенофонт Ильич? – спросил он Артамонова, щуря глаза.

Ксенофонт Ильич опустился рядом с ним на сено.

– Я, Федосеюшка. Не спится мне, Федосеюшка. Томлюсь я, как перед часом смертным.

Федосей вздохнул.

– От греха это, Ксенофонт Ильич, от греха. Все-то мы грешны. Все о копейке печёмся, о земном думаем, ангела своего распинаем. Ангелу-то больно, душенька-то мучается, вот мы и не спим. Охо-хо, Ксенофонт Ильич!

Федосей зевнул.

Ксенофонт Ильич смотрел на него, беспокойно сверкая глазами.

– Все мы во грехе – повторил он. – Вот и я всю-то жизнь копеечку чеканил, братец ты мой. До озверения, милый ты человек, дошел. Живого человека совсем с его хутором сел! Вот он каков есть человек, Ксенофонт Ильич! – неожиданно для самого себя добавил Артамонов.

Федосей привстал.

– Верно, Ксенофонт Ильич, верно, – прошептал он с восторгом, – ибо в писании сказано: «воззритесь на птицы небесные...»

Федосей не договорил, его перебил Ксенофонт Ильич.

– Вот он каков есть человек Ксенофонт Ильич, – торжественно произнёс он и, внезапно припав к коленям Федосея, захныкал:

– Тошно мне, Евтишенька.

Ксенофонт Ильич вздрогнул, потому что Федосей отстранил его голову с своих колен и сказал:

– Да какой же я Евтишенька, если меня Федосеем зовут.

В то же время Ксенофонту Ильичу показалось, что в глазах Федосея зажглись и мгновенно погасли лукавые предательские огоньки.

– Разбойник! – крикнул Артамонов, чувствуя, что его подвели, и приходя в сильное раздражение, – Живорез, предатель! Все вы заодно, мерзавцы и злоумышленники!

Он порывисто встал и вышел из конюшни, чувствуя в сердце приступ бешеной злобы.

– Все вы подлецы, – шептал он, еле удерживаясь, чтобы не заплестись от охватившего его презрения к людям.

– Все вы подлецы из одного теста сделаны. Евтишенька теперь с сотоварищем каторжным в саду, в бурьяне, сидит, нож на меня точит, Агафья Данильевна сладко спит, разметалась, Евтишеньку, осторожную душу, в объятия к себе ждёт, а Федосеюшка, блаженный разбойничек, взялся у них

страх на меня нагонять, словами-наговорами разум мой затемнять. Только врёте, злоумышленники, голыми руками меня не возьмете, скользок я и увертлив! Смотрите, свои головы на плечах берегите, крепко ли они у вас к плечам приставлены, поглядывайте. Палка-то, родимые, о двух концах! В револьвере-то, милые, шесть пуль!

Ксенофонт Ильич, нашептывая все это, уже ходил из угла в угол по кабинету на цыпочках, с презрительной усмешкой па бледных губах и скрестив за спиною руки. Его глаза беспокойно перебегали с предмета на предмет. Ксенофонт Ильич почесал бритый подбородок и внезапно остановился у окна. В саду, в бурьяннике, он увидел вспыхнувший огонек. Огонек вспыхнул, затрепетал, как бабочка крыльями, затем сделал дугообразное движение и превратился в светящуюся точку. Ксенофонт Ильич в минуту сообразил в чем дело. «В бурьяннике, – подумал он, – сидит Евтишка и закуривает папироску». Он злобно улыбнулся и прошептал:

– Палка-то, миленький, о двух концах.

Он хотел было двинуться с места. Ему пришло в голову прокрасться в сад, открыть логовище Евтишки и пристрелить его как бешеную собаку. Он оправил на себе пиджак и опустил в карман руку, чтобы освидетельствовать, хорошо ли заряжен его револьвер, но револьвера в его кармане не оказалось. Ксенофонт Ильич засуетился, заметался по комнате, беспокойно сверкая глазами и ища утерянный револьвер. «Куда бы он запропастился?» думал он и, нако-

нец, сообразив, в испуге остановился посреди комнаты.

– Да ведь револьвер-то, – прошептал он, – Федосеюшка у меня из кармана вытащил, когда я с ним в конюшне сидел. Ловко же они, братец ты мой, дело это обстряпали! Безоружного, как барана какого-нибудь, меня зарезать хотят. А все Евтишенька, все он! Это он обещаньями преступными Федосея купил!

Ксенофонт Ильич лег на постель, не раздеваясь, и заплакал. Ему стало жаль себя. Он был окружен злоумышленниками, и даже Агафья Даниловна строила ему козни.

– Отогрел у груди своей змею лютую, – прошептал Ксенофонт Ильич и встал с постели.

Внезапно ему пришло в голову победить злоумышленника великодушием. Для этой цели он настежь отворил окошко в своей спальне, отпер ящик письменного стола, порывшись там, достал пачку кредитных билетов ровно в 500 рублей, все, что у него было, и положил деньги на стол, на самом видном месте. После этого он разделся и лег в постель и, притворившись уснувшим, стал ждать к себе в гости Евтишку. Он пролежал таким образом около часа и вдруг услышал в саду чьи-то осторожные шаги. Артамонов прилип к постели и, холодея от ужаса, глядел в открытое окно прищуренным глазом. Вскоре он увидел в окне чью-то курчавую голову. Но это был не Евтишка. «Евтишкин сообщник», решил Артамонов, чувствуя, что его ноги начинают подрыгивать. Курчавая голова, между тем, пристально глядела в ок-

но на тот угол, где стояла постель Артамонова и, казалось, вынюхивала самый воздух комнаты. Ксенофонт Ильич хотел молиться, но, несмотря на все усилия, не мог припомнить ни одной молитвы. В его голове мелькали только лишённые смысла обрывки.

– Свете тихий, Жизнедавче, аллилуйя, – прошептал он, стараясь не шевелить губами.

В это время па подоконнике показались две руки с кривыми, цепкими пальцами, и шершавый мужичонка, ловко, как резиновый мяч, впрыгнул в комнату. Он был в ситцевой рубаше, рыжих нанковых штанах и шерстяных чулках. Это, без сомнения, был не Евтишка, но, тем не менее, сердце Артамонова забилося с такою силою, что он почувствовал головокружение.

– Аллилуйя, Жизнедавче, – прошептал Ксенофонт Ильич.

И тут его мысли понеслись с такою быстротой и в таком хаотическом беспорядке, что Ксенофонт Ильич на время как бы лишился сознания.

Он пристукивал зубами и бессмысленно прищуренным глазом смотрел на странный действия косматого мужичонки. А маленький и юркий, как обезьянка, воришка все так же пристально смотрел на Артамонова и вынюхивал воздуха. Потом мужичонка прибрал со стола деньги и сунул их в карман нанковых панталон. Затем он неслышно шагнул к стене, где висели серебряные часы, и тихо потянулся к ним рукою, точно желая поймать муху, а не снять часы. Спрятав в кар-

ман и часы, он снова осмотрел комнату и затем уже шагнул к окну. Его рука коснулась подоконника, и он ловко, как резиновый мяч, выпрыгнул обратно в сад. За окном вскоре зашуршала трава, а затем уже на дворе раздались какие-то звуки, как бы сдержанный топот лошадиных копыт.

– Так-так-так, – прошептал Артамонов, – это они Агашеньку увозят.

Ксенофонт Ильич внезапно сморщил лицо и заплакал, всхлипывая как ребенок. Ему было жалко себя, бедного, обворованного и всеми покинутого. Он плакал, утирал кулаком слезы и припоминал свою жизнь. В единую минуту она прошла перед ним вся, холодная и темная, как полярная зима, с детством без привязанности, с молодостью без любви, вся наполненная каверзами, подвохами и утягиванием копеечек.

Ксенофонт Ильич заплакал еще горше, но внезапно мысли его приняли совершенно иное направление, до того неожиданное и странное, что Ксенофонт Ильич беззвучно рассмеялся, укрылся с головою одеялом и крепко заснул.

Проснулся он поздно. Солнышко было уже высоко и весело смотрело в открытое окно его спальни. Ксенофонт Ильич вспомнил происшествия минувшей ночи и улыбнулся. Затем он встал с постели, старательно вымылся, прополоскал рот и, одевшись в свой праздничный костюм, пошел в комнату к Агафье Даниловне. Он был убежден, что ее похитили и увезли, но, тем не менее, он нисколько не удивился, ко-

гда увидел ее в столовой. Агафья Даниловна сидела за чайным столом свежая, хорошо вымытая, и, так сказать, благоухающая красотой и свежестью, а рядом с нею прихлебывал из стакана чай местный становой пристав Ардальон Сергеич, знакомый Артамонова. Пристав увидел Ксенофонта Ильича и улыбнулся.

– Батенька, – сказал он, привставая, – вы тут поживаете и благодушествуете, а у вас несчастье, спасибо, полиция за вас бдит! – Он протянул Артамонову мягкую руку.

– Знаете ли вы, голубчик, что у вас нынче ночью двух самых лучших лошадей увели: Бесценного и Касатку? – Ардальон Сергеич прищелкнул шпорами и с недоумением заглянул в самые глаза Артамонова. Ксенофонт Ильич, казалось, нисколько не удивился, услышав сообщение пристава, и смотрел на него с странной улыбкой, как бы говорившей:

«Знаю-с, знаю-с! все лучше вас самих знаю-с!»

– И знаете, кто увел? – продолжал Ардальон Сергеич несколько смущенный улыбкой Артамонова: – крестьянин из Гаврюшина, Тарас Копчиков, и сюлявский татарин Ахметка. Они сегодня на заре моему уряднику попались, влетели, то есть, как ворона в суп! Урядник-то на некие розыски ехал и вдруг ваших лошадей опознал. Я вам их самолично представил, вот Агафье Даниловне на руки сдал.

Становой пристав снова щёлкнул шпорами. Ксенофонт Ильич сидел, молча улыбаясь, и Почесывал обрюзгшие щеки. Его лицо как будто отекло за ночь.

– Представьте себе, – продолжал становой, – вору с вечера еще ваших собак убили, сами сознались; иначе, говорят, они бы нас не допустили!

Агафья Даниловна улыбнулась.

– А Ксенофонт Ильич думал, что их Евтишка убил.

– Какой Евтишка? – спросил становой.

Агафья Даниловна потупилась.

– Да Евтихий Дементыч, – сказала она.

Ардальон Сергеич повернулся всем корпусом к Артамонову.

– Ах, да разве вы не слышали? Ведь он умер еще по дороге в Сибирь: думал бежать и застрелен конвойными.

Агафья Даниловна слегка побледнела и перекрестилась.

– Упокой, Господи, его душеньку.

Она вздохнула. А Ксенофонт Ильич даже и бровью не сморгнул.

Он сидел с многозначительной улыбкой на губах. «Все, дескать, я это знаю лучше вас». Молодая женщина снова предложила было ему чаю, но он отказался. Даже мысль о еде вызывала у него тошноту. Ардальон Сергеич допил стакан, откланялся и уехал; он торопился куда-то по делу, а Агафья Даниловна собралась идти кормить птицу и по дороге сообщила Ксенофонту Ильичу:

– А Федосей ваш пистолет, Ксенофонт Ильич, принёс, вы его ночью в конюшне, слышь, обронили.

– Все это я знаю лучше вас, – отвечал Ксенофонт Ильич

и пришел к себе в комнату. Он долго ходил из угла в угол по комнате как бы вспоминая о чем-то в высшей степени важном. Наконец он вспомнил, радостно улыбнулся, отыскал свой старый пиджак, который был на нем вчера ночью, и извлек из его кармана поднятую у скотного сарая бумажку. Он бережно разгладил ее. Ксенофонт Нльич не ошибся; это было письмо от Евтишки. Он улыбнулся и торжественно прочитал вслух нижеследующее, между тем как на листке этом не было выведено ни буквы.

«...Милостивый государь Ксенофонт Ильич! – читал он. – Как вам уже известно от г. станового пристава, я волею Божию помре и предстал перед грозными очами Вездесущего. Сначала я умолял Господа отпустить вам той же монетою, какую рассчитывались при жизни со мною вы, но узнав, что вы в нынешнюю ночь приобщились к истинным, молюсь вместе с вами. Евтихий Дементьев Коперников, бывший мещанин, а ныне покойник XIV класса».

Ксенофонт Ильич прочитал все это вслух с радостной улыбкой и прошептал:

– Теперь надо молебствовать.

Он вышел из комнаты, достал связку ключей и полез за чем-то в гардероб Агафьи Даниловны.

Когда Агафья Даниловна вошла в спальню Ксенофонта Ильича, он стоял в углу перед образами в странном одеянии: поверх его праздничной пары на нем была надета шелковая ярких цветов юбка Агафьи Даниловны. Юбка была подвяза-

на под самым его горлом, а в руке Ксенофонт Ильич держал связку тяжелых амбарных ключей, которыми он побрякивал, как кадиллом, и нашептывал:

– Приобщишася еси к истинным!

Агафья Даниловна простояла несколько минут в оцепенении и потом опустилась на стул. Её красивое лицо сморщилось и стало некрасивым. Над её выпуклыми бровями выступили два красных пятнышка. Она горько заплакала. Агафья Даниловна поняла, что Ксенофонт Ильич свихнулся разумом, что скоро его куда-нибудь запрячут, что потом приедут наследники, имение приберут к рукам, а ее выгонят с тёплого местечка, от привольного житья, как никому ненужную собаку.